



АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ

# ЧИСТЫЕ КАМУШКИ

# **Альберт Лиханов**

## **Чистые камушки**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=138795](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=138795)*

### **Аннотация**

Счастливое начало у этой повести – отец Михаськи живым пришел с войны. Но, строя свою новую мирную жизнь, отец и мать предают самих себя, чистоту своей прежней жизни.

# Содержание

Часть первая	4
1	4
2	10
3	17
4	19
5	24
6	28
Часть вторая	38
1	38
2	41
3	47
4	50
5	55
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# Альберт Лиханов

## Чистые камушки

*Добро должно быть с кулаками,  
Добро суровым быть должно,  
Чтобы летела шерсть клоками  
Со всех, кто лезет на добро.*

*Ст. Куняев*

### Часть первая

### Такой длинный день

#### 1

Михаська перемахнул через борт грузовика, и каблуки звонко цокнули об асфальт. Всё! Лето позади, и скоро в школу.

– Ну ладно, – сказал ему Сашка, – до завтра!

Михаська тряхнул головой и хлопнул Сашку по плечу. Да, скоро в школу, немного осталось, каждый денек на вес золота. Вот завтра они и собрались порыбалить. Михаська представил, как стоят они, закатав штанины, по колено в воде

и поплавки мельтешат, пляшут, сливаются с колеблющейся водой.

– Не опаздывай! – сказал Сашка. – Мух я наловлю...

Сашка побежал через дорогу. Михаська посмотрел ему вслед и улыбнулся: «Все-таки трудяга этот Сашка!» Даже в День Победы всем дела нашел. Михаська вспомнил, как это было. В тот день, когда все уже наорались, наговорились, натолкались на радостях, в класс пришла Юлия Николаевна, в шелковом платье с белым воротничком, с двумя орденами Ленина, и спросила, как они собираются отметить такой день.

Ребята запереглядывались, все даже растерялись немного – никто об этом не думал, все с ума прямо посходили от счастья. И вдруг Сашка Свиридов сказал, что надо посадить деревья возле дороги, которая идет на Москву. Когда они ехали сюда в эвакуацию, дорога была совсем голая, ни одного деревца.

Еще Сашка сказал, что деревья надо посадить до самой Москвы, но это он, конечно, загнул. Один их класс до Москвы деревья посадить не мог; для этого им надо было бы, наверное, сто лет сажать деревья.

Обидно, конечно: они посадили целую тысячу деревьев, но Михаська сам, собственными руками так ни одного и не посадил. Он копал ямы, а ставили туда саженцы и засыпали корни землей девчонки или те, кто послабее. Михаська пошевелил лопатками: будто по спине кто ногами ходил. Нако-

пался досыта. Ну да ладно... Зато завтра!.. Он снова представил поплавок, пляшущий на волнах.

Мимо ехала лошадь с сеном. Она шла понутив голову, а на огромном возу, свесив босые ноги, сидела девчонка. Она смотрела по сторонам и совсем забыла про свою лошадь. Михаська подумал, что сегодня какой-то длинный день. Тащится, словно эта лошадь с сеном. И сколько в жизни вот таких дней! Будто серые, пасмурные облака. Но все-таки бывают в жизни у человека дни, которые по пальцам можно пересчитать. Потому что они будто только что увиденное кино: помнятся от самого начала до самого конца и со всеми подробностями. Сколько бы человек ни жил потом – десять... двадцать, а может быть, и сто лет, – все равно такие дни он помнит так, как будто это было вчера.

Лично у Михаськи был пока что один такой день.

Конечно, каждому человеку хочется, чтобы такие дни, которые в памяти, как зарубки на дереве, помнились бы потому, что они с утра и до самого вечера состояли из одного только счастья.

Например, такой день мог бы начаться с того, что по дороге в школу Михаська нашел бы сотенную. Лежит себе этакий кусок бумаги, сложенный вчетверо, лежит, на людей смотрит. Ждет, кто его подберет. И вот идет Михаська и находит эту деньжищу – именно он, а не кто-нибудь. А потом бы вдруг отменили уроки; и, конечно, он кинулся бы на улицу Ленина, к магазину с высокими ступеньками. Мама рас-

сказывала, что раньше, при царе Николае Втором, когда она была совсем маленькой, в этом магазине торговал какой-то купец по фамилии Кардаков. Купца уже давно не было, да и магазина тут не было – его закрыли, когда началась война, и сделали в нем фабрику, где усталые женщины шили солдатское белье. Фабрика считалась оборонным объектом, но Михаська-то знал точно, что там шьют кальсоны. У Сашки Свиридова там мать работает. Но хотя шили в бывшем магазине купца Кардакова теперь кальсоны для солдат, здание это с крутыми каменными ступеньками и с перилами в виде железных лир все в городе называли по-старому, как при Николае Втором, – «кардаковским».

А нынешней весной «кардаковский» стал самым известным местом среди мальчишек и девчонок. Городской молокозавод освоил производство мороженого, и продавалось оно не где-нибудь, а у «кардаковского», под крутыми ступеньками с железными лирами в качестве перил.

Так вот, в свой самый счастливый день Михаська кинулся бы, конечно, с Сашкой к «кардаковскому» и купил бы сразу четыре порции мороженого, потому что на сто рублей как раз выходило ровно четыре порции. Он прошелся бы по улице от нечего делать, ну а потом можно было бы совершить какой-нибудь подвиг.

Скажем, вдруг солдаты бегут с автоматами за дезертиром, а тот мчится с красным, злым лицом, без ремня, с пистолетом в руке, и все боятся к нему подступить. А Михась-

ка кинулся бы ему под ноги – не жалко и пальто, хотя оно еще почти новое, во втором классе по ордеру купили, – и дезертир бы хряпнулся на землю, и пистолет бы у него выпал, стукнулся о камень и выстрелил бы. И пуля бы пролетела над самым ухом Михаськи. И пусть бы даже ранило. Только чуть-чуть. Ну, за ухо бы зацепило. За самую мочку. Это совсем не больно. Михаська пробовал однажды сквозь мочку иголку пропускать. Свирид где-то этот фокус разузнал.

Михаська вздохнул и оглянулся. Улица была пустая и пыльная. На плече он нес, как ружье, лопату черенком вниз. Михаська подтянул и без того тощий живот и стал печатать шаг, оттягивая носочки и взмахивая до пояса свободной рукой. Как отец на Параде Победы.

Конечно, отец не был на Параде Победы, он бы уж обязательно написал, если бы был, но все равно.

Эх, отец!.. Когда только он приедет?

Много солдат уже вернулось домой. Каждый вечер к московскому поезду шли женщины. Они ходили потому, что солдаты не любили давать телеграммы. Они почему-то приезжали вдруг, неожиданно, как снег на голову. И женщины ходили к поезду посмотреть, не вернулся ли муж. Или отец. Или брат.

Михаська тоже ходил несколько раз. Но отец не приезжал. Только присылал треугольнички. Однажды он написал, что осенью, видимо, его отпустят и тогда они с Михаськой пойдут на охоту.



Вот здорово! На охоту!.. Михаська сразу решил, что обязательно попросит отца взять и Сашку, ему же не с кем ходить на охоту. И пойдут они с Сашкой по лесу – ружья наперевес.

Но до осени было еще далеко... А осень тоже длинная – когда он приедет?

Михаська вздохнул, подумав, что ему надо идти мимо «кардаковского», а значит, и мимо мороженого.

Что там мечтать о каком-то счастливом дне! Про отца ничего не известно, а сотенные разве валяются на дороге? Чушь, это можно только придумывать.

А у Михаськи, если уж говорить о дне, который запомнился навсегда, он был совсем другой.

Но все равно. Надо смотреть правде в глаза. Даже если от такой правды плакать хочется.

Михаська вспомнил тот день. Утром его разбудила мать. Михаська взглянул на заиндевшее окно и увидел, что мороз очень занятно разрисовал стекло. Не какими-нибудь цветочками, елочками-палочками. Узор был очень похож на орден Александра Невского – Михаська видел его у одного раненого в госпитале, когда они выступали там с шефским концертом. По стеклу разбегались лучи, а между ними еще лучи, и рисунок был такой четкий и ясный, что Михаська его забыть, конечно, не мог.

Потом он встал, сунул в портфель жестяной подсвечник, сбегал на кухню и отрезал столовым ножом от большой свечи новый кусок. Света в школе не было, и по утрам, когда еще темно, они зажигали свои свечи, а на столе у Юлии Николаевны стояла медицинская спиртовка, только вместо спирта в ней был керосин. Это очень забавно – сидишь в полумраке и на каждой парте по два свечных огарка, будто на елке. Спичек тоже не хватало, их выменивали на рынке на хлеб, и Юлия Николаевна, входя в класс со своей горячей спиртовкой, обходила парты и зажигала все свечи, «давала прикурить», как говорил Сашка.

Михаська сунул свечку в сумку, пора было уже идти. Он

положил туда еще кусок хлеба, намазанный тонким слоем маргарина и завернутый в довоенную газету.

Он подумал, все ли взял, не забыл ли чего, и подошел к этажерке, где лежало самое заветное – красный альбомчик. До войны отец собирал марки. Эх, какая тут была красота! Синие, красные, голубые, оранжевые, зеленые листочки, наверное, всех цветов на свете – разместились стройными рядами. А что тут только не нарисовано! Какие-то цари и короли. Фонтаны и верблюды, цветы и города, гербы и замки! Михаська смотрел марки каждый день и удивлялся, как это отец мог собрать столько марок. Михаська пытался продолжать эту коллекцию, искал марки, но ничего не находил – разве что синюю марочку с красноармейцем да зеленую с колхозницей, только такие марки и ходили с письмами.

Он уже хвастался альбомом Сашке Свириду и Катьке с Лизой, соседским девчонкам, внучкам Ивановны.

Теперь ему хотелось показать марки в школе.

Он подождет, когда рассветет, когда ребята потушат свечные огарки, когда взойдет солнце и растопит кружева на окне, и где-нибудь на четвертом уроке он вытащит заветный альбомчик и пустит его по рядам. Не страшно, даже если Юлия Николаевна отберет. Она отберет, а потом сама же их покажет всем, только еще и объяснит, что там нарисовано.

Михаська сунул альбом в сумку.

На улице было совсем темно, огни не горели – света не хватало заводам, не то что улицам. В утреннем сумраке еле

угадывалась черная дорога.

До угла они шли с матерью вместе, потом мама помахала ему рукой и свернула к госпиталю, а Михаська пошел дальше.

Он шел быстро, слушая, как хрустят под валенками снег, будто лошадь ест сено. Михаська все думал, как это получится здорово, когда он вытащит альбом и все ахнут. Ребята скажут, какой молодец у Михаськи отец, – ведь не каждый может похвастать таким богатством, не каждый может сесть вечером у лампы и посмотреть марки: побродить по страшным джунглям, или по северным льдам, или в пустыне Сахаре.

Михаська беззаботно размахивал портфелем, а за углом его ждала беда.

Когда он повернул к школе и проступил в темноте ее черный силуэт, ему навстречу шагнула тень.

Михаська сразу узнал ее.

Это был Колька Савватеев. Его прозвали Шакалом, а еще Николаем Третьим, потому что последний царь был Николай Второй, а Савватеев считался как царь.

Он учился в соседней школе, в седьмом классе. Когда Сашка Свирид приехал из Ленинграда, Савватей поймал его на улице и накормил хлебом, который отнял у других. Сашка не устоял, наелся хлеба, и Савватей заставил его «шестерить» – ходить всегда рядом с ним, будто адъютант. Сашкина мать тогда отбила его у Савватей. Поймала Николая Третье-

го среди бела дня на улице и набросилась на него. «За кусок хлеба ребенку голову морочишь!» – кричала она.

Удивительно, Савватей от Сашки отвязался.

По утрам, особенно зимой, Николай Третий вставал рано, как настоящий шакал, и дежурил у начальной школы, где учился Михаська. Он специально дежурил именно у этой школы, потому что в начальной учатся до четвертого класса и ребята все маленькие. Савватей стоял в темноте и обшаривал ребят. Он отбирал куски хлеба, намазанные маргарином, и серые пеклеванные булочки, базарные конфетки – подушечки и овсяные ватрушки. Иногда он выхватывал из сумки вместо булочки учебник или тетрадку и швырял ее в сугроб или забирал себе, чтобы, отойдя потом на несколько шагов, бросить под ноги и вытереть о них валенки. Когда он отнимал книжки или тетрадки, ребята не уходили. Они стояли в отдалении и ждали, когда Николай Третий бросит тетрадки, а потом бежали подбирать их.

Савватей делал все это молча, нагло, становясь поперек узкой дорожки между двух сугробов. Он отбирал не у всех: куда ему было столько хлеба – лопнешь, не съешь! Он отбирал на выбор, кто ему не понравится, а может, наоборот, понравится. Тем, у кого он отнимал что-нибудь, Савватей шептал:

– Молчи, стер-рва!

Это «стер-рва», это протяжное «р-р» действовало на всех без исключения. Все молчали. Все боялись кары ужасного

Савватей, Николай Третьего.

Когда Михаська увидел Савватей, шагнувшего навстречу, сердце у него вдруг громко застучало, предчувствуя беду. Они встречались и раньше, но чаще всего Савватей пропускал почему-то Михаську, и он, загребая валенками снег в глубоком сугробе, обходил его. Таков был шакалий закон – обойти его по сугробу. Один раз Николай Третий отобрал у Михаськи кусок хлеба, и Михаська не очень-то расстроился, потому что так случалось со всеми.

Но сейчас, когда Савватей шагнул к нему, Михаська сразу вспомнил альбом и понял, что произойдет ужасное.

– Открой, – хриплым голосом сказал ему Шакал и кивнул на портфель.

Одеревенелыми руками Михаська снял варежки, сунул их в карман и щелкнул портфельным замком. Михаська с тайной надеждой подумал, что, может быть, в темноте Шакал не заметит альбома, но Савватей заметил, открыл его и сказал:

– Ого!..

Михаська услышал за спиной скрип валенок и быстро обернулся, надеясь на помощь. Но сзади стояла маленькая Лиза, внучка Ивановны. Нет, Лиза ничем не могла помочь. Она уже раскрыла свою сумку, чтобы Савватей ее осмотрел, но Савватей мог и не смотреть, потому что ничего у нее в сумке не было – это Михаська знал точно.

Шакал небрежно листал альбомчик, и Михаська вдруг с отчаянием понял, что Савватей, эта грязная скотина, не от-

даст ему марки.

– Отдай, – сказал Михаська. – Это отца. На вот хлеб...

– «Отца»! – хохотнул Савватей, как-то деловито размахнулся и ударил Михаську в нос.

На улице стало совсем светло, как после четвертого урока, потом стемнело снова. Михаська почувствовал, как что-то теплое ползет у него по губе.

– На вот тебе отца! – сказал Николай Третий.

Михаська упал на одно колено, видно оступившись, тут же вскочил и по сугробу рванулся в сторону. Снег был глубокий, по пояс Михаське, но он ничего не видел. С портфелем под мышкой выскочил из сугроба и пробежал несколько шагов.

В голове шумело, перед глазами шаталось все, словно при землетрясении. Михаська взял в ладошку снег и приложил к губе. Снег стал красным. Михаська прошел еще несколько шагов и вдруг сел прямо в сугроб и заплакал.

Его губы тряслись, и капельки пота катились из-под шапки. Мир остановился вокруг, и ничего не было – ни силуэта школы, ни темноты, ни вчера, ни сегодня, только альбом с дорогими отцовскими марками и ненавистный Шакал, Николай Третий, Савватей.

«Все, все, все!.. – думал Михаська. – Нет марок. Нет альбома... Все! Все! Все!»

Шапка упала в снег, но он не чувствовал ничего, кроме смертельной тоски и обиды.

Кто-то потянул его за рукав. Михаська вздрогнул и обернулся.

Перед ним стояла маленькая Лиза, внучка уборщицы. Ивановны.

– Не надо, – сказала Лиза, вглядываясь в Михаськино лицо. – Не надо.

– Уйди, – прошептал Михаська и ткнулся лицом в снег.

Это было бессмысленно, совсем не к месту – перед глазами маячил ледяной узор, похожий на орден Александра Невского, который он видел у раненого в госпитале.



Вот такой день был у Михаськи. Тяжелый день.

Михаська верил, даже наверняка знал, что будет, должен быть во что бы то ни стало еще один день, который тоже запомнится ему, и даже больше, чем этот, первый. Это будет страшный день для Николая Третьего, Савватея.

Михаська придумывал, как он отомстит Шакалу. Много разных гибелей придумал он проклятому Савватею.

Это могло быть и так, что вся школа под Михаськиным предводительством вышла бы рано утром на улицу, совсем рано, пока еще спит Шакал. На плече у каждого были бы белые веревки. И в том месте, куда приходит обычно Николай Третий, за домами, за сараями, за деревьями, спряталась бы вся школа, протянув по белым сугробам белые веревки.

А потом бы пришел Шакал и встал на своем месте. А на встречу ему пошла бы маленькая Лиза, внучка Ивановны. А когда Шакал открыл бы у нее сумку, он увидел бы там горю хлебных кусков, намазанных маргарином, и ватрушки, и много еще чего. Это бы собрала в Лизину сумку свои куски вся школа.

А когда Шакал обрадуется и полезет в Лизину сумку, все поднимут белые веревки из снега, и Шакал окажется как бы в сетях. И справа, и слева, и снизу, и сверху – веревки. И он бы заметался и побежал, конечно, запутался и упал бы в

снег, а тогда вся школа замотала бы Савватаея веревками и после четвертого урока, когда станет светло, повела бы его по городу. А потом отвела бы в милицию.

Этот конец Михаське не нравился. Было бы лучше ответить Шакала на реку и окунуть его в прорубь. Но за самоуправство даже на фронте наказывают – это Михаська слышал в госпитале.

Конечно, этот день мог быть и другим. Михаська вдруг бы стал боксером и избил бы Шакала. Не ночью, в темноте, а прямо на улице Ленина среди бела дня.

Эх, скорей бы настал этот день, второй день, который запомнится!

Михаська медленно брел домой. Глаза у него блестели, а фуражка задралась на макушку, потому что он представил опять этот второй день, и даже кулаки у него сжались сами собой.

Михаська подошел к «кардаковскому» и поднялся на самый верх крутой лестницы. Можно было чуть постоять, посмотреть – отсюда все видно очень здорово.

Продавщица Фролова стояла прямо под Михаськой, возле бочки с колотым льдом, а посреди льда, блестя боками, стояла большая банка. Если бы ее поставить на землю, она достала бы Михаське до пояса. Вот такая банка была полна мороженым.

Сколько раз видел все это Михаська! И бочку и банку. Видел и сверху, как сейчас, и сбоку, и снизу, присев на корточки. Видел издалека, вон с того угла, и совсем рядом. Он трогал бочку руками и задел даже раз банку; бочка была как бочка и банка как банка, но внутри у нее удивительная еда, настоящее чудо. Белое, сладкое, холодное!

Михаська посмотрел, как к мороженщице подошел какой-то военный – видно, из госпиталя, с рукой на серой повязке. Фролова взяла свой прибор – большую жестяную рюмку с двойным дном, положила туда тоненький листочек сладкого печенья в клеточку (мама говорит, вафлю – вафля, вафля, слово-то какое вкусное!), откинула крышку банки и ложкой наскребла оттуда горку мороженого, пихнула его в рюмку, утрамбовала и сверху положила вафлю. Потом она опрокинула рюмку, нажала на какую-то ручку внутри и подала

военному круглое мороженое.

Военный был совсем молодой. Он взял колесико мороженого, посмотрел на него удивленно и лизнул. Потом он увидел Михаську, улыбнулся ему и показал белые, как мороженое, зубы. Военный лизнул мороженое еще раз, еще, еще и пошел, задумавшись, часто спотыкаясь, прямо по мостовой.

«Интересно, о чем он задумался?» – пытался отгадать Михаська.

И вспомнил, как мама рассказывала о старшине, который лежал у них в госпитале. Его не ранило, даже царапинки на нем не было. Недалеко от него взорвалась бомба, и его перевернуло несколько раз, а потом засыпало землей. Когда его откопали, он был какой-то задумчивый, встал и пошел как ни в чем не бывало. Потом обернулся и спросил: «Где Рая?» Рая – это была его жена. Ему сказали: «Она дома», но он снова спросил: «Где Рая?»

И потом все спрашивал: «Где Рая?» И думал. Его привезли в госпиталь, и к нему приехала жена, та самая Рая. Он посмотрел на нее, подумал о чем-то, а потом спросил: «Где же Рая?»

Михаська видел этого старшину. Он сидел на кровати и глядел в одну точку – серый, небритый.

Михаська вздохнул, посмотрел вслед раненому, который спотыкался, лизал мороженое и тоже о чем-то думал, как тот старшина. «О чем он думает?» – удивился Михаська. О чем можно думать, если ешь мороженое? Можно только улыбаться.

ся. Смеяться. Хохотать.

Он посмотрел еще раз на бочку, на таявший лед, на банку, сияющую белой крышкой, и, грохоча каблуками, скатился с крутых ступенек.

– Тьфу, черт, напугал! – ругнулась Фролова.

Мороженщицу Фролову Михаська знал хорошо. Фролова была городской знаменитостью. И не только из-за мороженого, а скорее из-за овчарок.

На мороженое Фролова перешла совсем недавно, уже после победы, как только завод стал его делать.

А почти всю войну она «жила собаками». Мама так говорила. Все работали, все старались, чтобы скорее победа, а Фролиха...

Началось все с того, что какие-то бандиты ограбили универмаг. И ничего там особенного не было, никакого золота, а только довоенные женские платья, детские пальто, галоши, валенки. Их распределяли заводам, учреждениям и выдавали по ордерам.

Но для бандитов, видно, и валенки были не хуже золота. Мама в тот день ходила днем с работы в город и рассказала Михаське, что возле универмага полно милиции, но в милицию Михаська не верил, потому что там работали теперь женщины. Наганы тоже, говорят, все отдали на войну, и у теток-милиционерш их не было. Михаська сам видел, как у одной из кобуры торчала какая-то тряпка.

Словом, бандитов не нашли, но тут объявилась Фролова.

Каждое утро и каждый вечер на улице появлялась толстая рябая тетка. В обеих руках она держала по крепкому кожаному ремню, а на ремнях были две овчарки. Тетка шла, откинувшись назад, по мостовой, и все, кто шел по дороге, жались к заборам, потому что овчарки были тощие, злые, тянули тетку в разные стороны и, казалось, были готовы кинуться на любого и тут же разорвать. Тетка время от времени кричала псам непонятные слова: «Фу!», «Брэк!» – и псы покорно шли вперед понутив головы.

Михаська не любил овчарок. Овчарок фашисты напускали на наших раненых бойцов, когда их пытали. Псы хватили раненых за горло и душили их. Михаська сам читал об этом в газете, и любая дворняга, самая задрипанная, была в сто раз милее и лучше этих поджарых псов.

А Фролиха, говорили, жила за счет своих собак. Она приводила их в универмаг вечером и пускала с поводка. Овчарки свободно разгуливали между прилавками – караулили универмаг, а Фролиха получала за них два пайка. Псов она кормила плохо, а все съедала сама, хотя получала еще и рабочую карточку как проводник сторожевых собак.

Все работали, делали снаряды, дежурили в госпитале или вот, как мать Свирида, шили кальсоны для бойцов, а Фролиха водила собак.

Потом вернулся с войны ее муж. Один рукав гимнастерки у него был засунут за толстый офицерский ремень. Но он и одной рукой управлялся с псами. А Фролиха стала торговать

мороженым.

Странное дело, теперь Михаська не испытывал к Фролихе прежней нелюбви. Может, потому, что она стала честно торговать мороженым? Или потому, что и у Фролихи, как и у многих, муж вернулся инвалидом?

Михаська даже вздрогнул от собственной мысли: вот было бы здорово, когда муж Фроловой поведет из магазина собак, пойти овчаркам навстречу и пройти между ними, не побоявшись! Как партизан или как боец.

Да, это была бы штука! Небось Николай Третий не осмелился бы.

Уже виднелись ворота его дома. Он вздохнул. Нет, все-таки это невозможно – пройти между двумя овчарками...

Потом, уже вечером, Михаська снова перебирал все подробности этого дня. И как он шел, и как стоял около мороженщицы Фроловой и думал про Савватея, и про овчарок, и про раненого, который спрашивал: «А где же Рая?» – и про того, который ел колесико мороженого.

Нет, все это было не зря. Ведь знал Михаська, что в тот день, который останется на всю жизнь, запомнятся все подробности и все мелочи, как в только что виденном кино. Зря он думал, что вторым днем будет тот, когда он рассчитается с Савватеем. Нет, оказалось, этот день ждал Михаську раньше, ждал, ждал и свалился на голову неожиданно-негаданно.

Михаська помнил, как он шаркал по мостовой, потом пылил по тропинке, как заскрипела калитка и он прыгал на одной ноге со ступеньки на ступеньку вниз по лестнице, ведущей с улицы во двор.

Потом он увидел маленькую Лизу. Она смотрела на него радостно, будто видела в первый раз, и Михаська подмигнул ей. У Лизы был нос пуговкой, вся она казалась какой-то тихой и прозрачной, как мотылек, и Михаська жалел ее.

Потом он увидел Ивановну, Лизину бабушку. Ивановна тоже улыбалась Михаське, и лицо ее, белое и морщинистое, будто мятая скатерть, вздрагивало, словно от испуга.



Потом Михаська увидел поленницу дров, а возле нее незнакомого человека в голубой майке. Человек стоял к нему спиной, и на голубой майке, прямо под лопаткой, белела маленькая дырка. Потом человек повернулся, увидел Михаську и улыбнулся ему.

Михаська улыбнулся ему тоже и подумал, что где-то видел этого человека, но вот где? Он так и не вспомнил, а человек в голубой майке медленно пошел Михаське навстречу, все так же улыбаясь ему. Потом он остановился, сунул руки в карманы и тихонько сказал:

– Михаська! Ну, Михаська!..

Он сказал это как будто с удивлением, а Михаська все никак не мог вспомнить, где же видел он этого человека.

Вдруг солнце, которое палило в спину, брызнуло прямо в глаза, и небо стало светлым-светлым, прямо серебряным, а может быть, красным, и Михаська уронил лопату.

Он пробежал несколько метров, которые их разделяли, стремительно и молча, до боли зачем-то сжав губы, и кинулся на шею человеку в голубой майке, ну прямо задушил его!

Он почувствовал колючую щеку человека и запах табака – наверное, самосада, потому что самосад курили раненые в госпитале и все солдаты курят самосад – и ощутил тепло кожи.

Михаська сжимал шею человека изо всех сил и свои губы сжимал, но солнце все равно светило в самые глаза, удивительно сильно светило, как не светит, если даже посмотреть

прямо на него. Оно почему-то все палило и палило и мешало смотреть, и говорить, и дышать.

Сквозь какую-то духоту и туман Михаська увидел маленькую Лизу, прозрачную, как листок папиросной бумаги, и Ивановну. Лиза улыбалась, глядя на Михаську, а у Ивановны катились белые горошинки по лицу и голова вздрагивала крупнее и чаще.

Михаське вдруг стало стыдно чего-то, он отпустил шею человека в голубой майке, встал с ним рядом и ткнулся ему лицом в живот. Они постояли так немного. Человек гладил и ерошил серые Михаськины волосы, а Михаська стоял и все не мог разжать свои губы, не мог открыть рта.

Потом он тяжело вздохнул.

Солнца не было перед глазами. Оно, как полагалось, жарило спину – правда, на ресницах что-то такое дрожало, мешало глядеть. Но тут и это исчезло, и Михаська увидел серые глаза, смотрящие на него сверху, и серые, совсем, как у него, волосы.

– Все? – выдохнул наконец Михаська. – Больше не уедешь?

И отец кивнул ему и вдруг схватил его под мышки, и Михаська с хохотом полетел в небо, вверх, и так взлетал в сильных отцовских руках, и хохотал, и видел стрижей, падающих к земле, и желтую поленницу дров, и Лизу, задравшую кверху лицо, и Ивановну. Он увидел сверху и мать, стоявшую у калитки, белую как полотно, и, взлетая, видел, как она сдела-

ла шаг вперед и медленно села на ступеньку дворовой лестницы.

Небо то поднималось, то летело ему навстречу, а отец в голубой майке с маленькой дырочкой под самой лопаткой тоже хохотал, глядя на Михаську, и ловил, и ловил, и ловил его...

Они ели потом завариху – муку, заваренную горячей водой. И Михаська уплетал ее за обе щеки, а маме это объедение сегодня не нравилось, что ли... Она брала ложку, глотала завариху и тут же клала ложку обратно, глядя на отца. Она как только увидела его, не отрывала от него глаз, будто боялась, что он исчезнет, растает, спрячется. Но отец не прятался никуда, а с аппетитом ел завариху, все шутил, смеялся и говорил маме, чтоб она ела.

Время от времени он тоже становился задумчивым, смотрел на маму, потом брал ее за плечи, поворачивал к себе и минуту глядел ей в глаза, ничего не говоря.

Так смотрели они друг на друга, забыв, наверное, и о нем, и глаза их становились необыкновенными. Михаська глядел на них и видел, как в глазах матери отражается маленький отец, а в глазах отца – маленькая мать; и ему казалось, что они уходят от него в какой-то волшебный мир, ему непонятный, смутный взрослый мир, и там, в глазах друг у друга, уменьшившись совсем, они и в самом деле одни, без него, Михаськи. И Михаське становилось тоскливо. А отец и мать, будто почувствовав, что ему тоскливо одному, вдруг поворачивались к Михаське и улыбались ему.

Но проходило немного времени, и они снова смотрели друг на друга, и отец гладил мать, как маленькую, по голове.

А мать снова смотрела на него, смотрела и видела только его.

Она стала совсем молодой, мама. Пока отец плескался под рукомойником, она открыла сундук и стала рыться в нем, а Михаську послала во двор махать чугунным утюгом, раздувать угли. Михаська раскалил утюг, и мама что-то гладила, но он не обращал внимания на эту возню матери, пока они не стали садиться за стол и мать не вышла из-за занавески в нарядном голубом платье с белыми горошками.

Михаська ахнул, а отец подхватил маму на руки и закружил ее. Но разве можно крутиться в их комнатухе! Отец тут же смахнул со стола фарфоровую чашку, на которой были нарисованы китайцы, гуляющие с зонтами. Чашку подарила маме ее мама, Михаськина бабушка, и мама очень берегла ее. Но тут она только рассмеялась и сказала, что посуда бьется к счастью, но все-таки отец отпустил ее и стал разглядывать и расхваливать вместе с Михаськой ее платье.

А когда наконец сели за стол и Михаська взглянул на мать, оказалось, что она очень похожа на девчонок из десятого класса женской школы, мимо которой ходил Михаська в свою начальную.

Мамины глаза сияли и были как небо и как платье, а волосы стали пушистыми, будто кудель, из которой Ивановна вечерами, когда Лиза читает ей по слогам вслух, вьет нить.

За столом отец похвалил маму за то, что она не продала свое довоенное платье, но мама ответила, что нет, это он ошибается – то платье она продала еще в сорок втором, а это

купила на барахолке совсем недавно, к его приезду. И отец похвалил ее еще раз, уже за то, что какая она хозяйственная и сумела скопить денег на платье. Мама задумчиво качнула головой и сказала:

– Картошка все это, Витенька, все картошка. Кабы не она, что и было бы, не знаю я.

И тут Михаська стал рассказывать отцу про их участок за рекой: как ходили они туда, лишь только просохнет земля после разлива, потому что ведь поля заливные; как сажали картошку; как окучивали ее, а потом убирали. Отец смотрел на Михаську, слушал его внимательно, с интересом, как взрослого, и кивал головой.

– Да, – сказала мама, когда Михаська умолк. – Картошка – она наша спасительница, милая. Всю войну на ней; и вот Михасика вытянула – не дистрофик, не больной. Была бы верующая, свечку в церкви ей поставила, картошке нашей!

Отец затянулся самосадом, хмуря лоб.

Они помолчали, думая каждый об одном – о войне, и каждый по-своему. Михаська почему-то снова вспомнил маленькую Лизу, которая еще в прошлом году только пошла в школу, а всю войну ходила по двору тихой тенью, и о бабушке Ивановне. О том, как стала трястись голова у Ивановны, когда умерла мама Лизы и Катьки.

– На днях сходим, – помолчав, сказал отец, – к вашей кормилице.

– К нашей кормилице. Теперь – к нашей...

Потом они перебрались на сундук все втроем и долго сидели обнявшись; и отец рассказывал, как его ранило осколком, и ведь это здорово, что прошел всю войну, а ранило хоть тяжело, но один раз – не всем так везет. Мама потребовала, чтобы он снял майку, и отец послушно ее снял. Михаська увидел сине-фиолетовый рубец на отцовской спине и потрогал его пальцем. Кожа была там гладкой и блестящей.

Мама чуть-чуть дотронулась до рубца и вдруг, всхлипнув, заплакала. Отец ничего ей не сказал, только опять обнял и снова погладил по голове. Мама успокоилась и стала говорить, каких раненых видела за войну в своем госпитале, как умирали люди; и наверное, им было страшнее умирать здесь, за столько километров от фронта, потому что они почти все умирали тяжело... Но она принимала все это как необходимое – война ведь, а сейчас вдруг, когда отец показал свою рану, испугалась, что его могли убить, пройди осколок чуть дальше, и отца бы теперь не было...

– Смерть будто холодом дохнула, – сказала она. – Вот, говорят, судьба – не судьба. А кому судьба умирать? Нет такой судьбы, всем судьба жить, а вот умирают. Бабы толкуют: а как же, мол, кто-то должен погибнуть... И как тут быть – кто должен, кто не должен...

Уже смеркалось, и мама вдруг спохватилась, стала искать авоську и складывать белье.

– Мужики, в баню! В баню, мужики! – кричала она. И почему-то было ей приятно повторять это слово – «мужики».

Отец хотел было идти в простой рубашке, но Михаська заставил его надеть гимнастерку с двумя медалями «За отвагу», и с орденом Красной Звезды, и с другими медалями – за освобождение разных городов.

Эх, как жалел Михаська, что в сумерках плохо видны отцовские награды! Да еще, как назло, никто не попадаетеся из знакомых ребят.

В бане было полно народу, очередь в мужскую мойку извивалась как змея. Они пристроились в хвосте, за каким-то стариком.

Михаська вспомнил, как он первый раз пришел сюда, в мужскую баню. Совсем один. Это было в первом классе.

Вначале он, конечно, ходил с мамой, как все маленькие мальчишки. Но однажды они пришли мыться, и в бане Михаська увидел Юлию Николаевну.

Мама еле уговорила Михаську раздеться и вымыться. Он согласился, если только их не увидит Юлия Николаевна. В мойке стоял пар, но она их все-таки заметила. Михаська прямо сгорал от стыда из-за того, что учительница увидела его в таком виде и он ее тоже. Хорошо, что Юлия Николаевна не подошла тогда к ним. А то что бы он стал делать? Наверное, убежал бы из бани.

Но Юлия Николаевна не подошла, кивнула им с мамой издалека и очень быстро ушла. Михаське показалось, что она даже не домылась.

После этого случая Михаська в женскую баню ходить на-



отрез отказался. Мама спорить не стала, поняла и мыла теперь его дома, в той самой ванночке, где Михаську купали, когда он был еще грудным.

В ванночке он не помещался, приходилось мыться стоя, вода текла ручьями по комнате, и мама ругалась. Однажды зимой стало туго с дровами, мама никак не могла получить машину дров, хотя ордер на них был, и Михаське пришлось одному идти в баню.

Мама долго учила его, как надо мыться, как вытираться, как следить, чтобы не украли белье, а то он останется голый.

Это-то было уж ни к чему. Михаська и сам слышал, как у одного дядьки в бане унесли белье и он остался совсем голый, пока кто-то не сходил к нему домой и не сказал, чтоб ему принесли во что одеться.

Для дядьки сходили – ясное дело, а вот кто пойдет, если утащат белье у мальчишки?

И Михаська пошел в баню, боясь, что с ним обязательно что-то случится.

Он припомнил, как еле открыл тогда тяжелую, разбухшую от воды и пара деревянную дверь в мойку, как налил в шайку кипятку и тихонько окатил край каменной скамьи. Потом он долго плескался в своей шайке, тер с мылом руки, вымыл и грудь, и ноги, и голову, попробовал дотянуться мочалкой до спины, но не дотянулся. Мама говорила ему, собирая в авоську белье: «А спину попроси потереть какого-нибудь дядю».

Михаська оглянулся, выбрал парня, который сидел к нему спиной на соседней скамейке и усердно тер свою шею.

— Ну держись... — сказал ему парень и начал драить Михаськину спину так, будто хотел снять с него кожу.

У Михаськи навернулись слезы.

Парень оказался веселым, все спрашивал, на каком фронте у Михаськи отец, и Михаська не знал, что ответить. Один же фронт — там, где сражаются. Михаське парень понравился; он все думал, что бы такое сделать для него, наконец сообразил предложить теперь ему потереть спину. Но парень улыбнулся, показав зубы, ответил, что уже натерся, спасибо, и дальше они словно познакомились. Парень нет-нет да и поглядывал на Михаську, подмигивал ему, и, когда пошел одеваться, Михаська увязался за ним, наскоро окатившись.

Парень оделся быстро. Михаська едва успевал за ним. Выходя, парень сказал пожилому банщику:

— Спасибо за баньку, папаша!

И Михаська тоже повторил за ним:

— Спасибо за баньку, папаша!

Банщик засмеялся и шлепнул его легонько сухим березовым веником.

За воротами их с парнем дороги расходились, они приветливо подмигнули друг другу на прощание, и Михаська подумал: как здорово, если бы все люди были такие.

С тех пор Михаська стал своим человеком в этих длинных банных очередях. Он всегда брал с собой географию или

еще какой-нибудь учебник и, пока стоял в очереди, выучивал урок назубок. После бани он получал пятерки, и поэтому ходить туда Михаське нравилось.

Всяких людей видывал он в этих длинных банных очередях. Особенно Михаська завидовал мальчишкам, у которых есть дедушки, а значит, есть с кем ходить в баню. А раз он видел старика, который пришел в баню с маленькой девчонкой. Сначала Михаська засмеялся – такое он видел впервые: в женской бане мальчишек много – это да, а чтоб девчонка мылась с мужчинами?

Но потом он призадумался: чего ж тут смешного? Мальчишки ходят с мамами в баню, потому что у них нет отцов, они на войне, а вот если девчонка идет с дедом – значит у нее нет мамы? Или, может, она тоже на фронте? Он испугался: а вдруг маму у этой девочки убьют? Потом он решил, что, наверное, просто маме этой девочки некогда: может, она на суточном дежурстве или уехала куда-нибудь? Сразу стало веселее, потому что Михаська не мог представить, что было бы с ним без мамы.

Видел Михаська в очередях и раненых, приехавших домой на поправку после госпиталя, обязательно с мальчишками, сыновьями, и очень завидовал этим мальчишкам. А когда пришло письмо от отца, где чьей-то рукой от его имени было написано, что он ранен, Михаська подумал, что, наверное, его отец тоже заедет домой из госпиталя и тогда они пойдут мыться вдвоем.

И вот теперь Михаська вспомнил, как хотел пойти с отцом в баню. Они стояли в своем темном уголке, очередь почти не двигалась, а Михаське так хотелось, чтоб они поскорее вышли на свет и все – и парни, и старики, и мальчишки – увидели бы его отца в гимнастерке и с медалями, которые негромко позвякивали друг о друга.

Старик впереди все крутился, топтался, дымил, о чем-то говорил с соседями, и Михаська подумал, что, если бы это он, Михаська, так крутился все время и рядом была мама, он уже давно схлопотал бы по макушке. Михаська рассмеялся, представив, как получил бы по макушке от мамы этот вертлявый старичок.

Старик обернулся, как будто понял, что Михаська смеется над ним, пристально посмотрел куда-то чуть повыше Михаськи и вдруг громко сказал:

– Что же такое творится, граждане?

Он сказал это и протянул руку в сторону Михаськи. Все стали оборачиваться и смотреть на Михаську, и он покраснел и уже сто раз обругал себя за то, что засмеялся над стариком.

– Что же это такое творится, православные?

«Вот еще, – подумал Михаська, – на попа нарвался».

– Прошел человек войну, – продолжал старик, – домой, наверное, вернулся, в баньку попариться, известное дело, пришел.

Михаська вздохнул, и краска стала сходить с него. Он

обернулся. Сзади стоял отец. Так вот на кого смотрели все! На отца!

– А мы его тут в очереди держим! – кричал старик.

Очередь вдруг зашумела. Михаську обняла какая-то теплая волна, заполнила его до самых краев – еще бы, вся очередь, целых, наверное, сто человек смотрели на отца, и улыбались ему, и говорили про него! И конечно, уже все видели его гимнастерку, и медали, и орден Красной Звезды, который отец называет просто звездочкой.

– А ну-ка, товарищ старшина, – закричал снова старик, – давай проходи вперед!

– Да что вы, – сказал отец, – постоим, отдохнем, теперь торопиться некуда.

– Нет, нет, – закричал шустрый старик, – торопись! Торопись отдыхать, а то скоро снова за работу! Давай, говорю, проходи!

Отца стали подталкивать, очередь перед ним расступилась, и он пошел вперед, а Михаська за ним, чувствуя на себе завистливые взгляды мальчишек... Кто-то даже легонько толкнул его в бок.

...Уже засыпая, разморенный от жаркой бани и горячего чая, Михаська подумал, радостно удивляясь: вот он, оказывается, какой был второй длинный день...

# Часть вторая

## «Тошка-тошка-тошка-тошка...»

### 1

Михаська любил смотреть на облака.

По дребезжащей железной лестнице он забирался на плоскую крышу. За дальней трубой, возле слухового окна, у него было любимое местечко. Если лечь на спину, Михаську здесь даже с крыши не видно, а с земли тем более. Это местечко он нашел еще в войну, когда учился во втором классе. Тогда по вечерам назначали дежурных по крыше на случай бомбежки. Впрочем, вскоре эти дежурства отменили, потому что фашистские самолеты до их города долететь не могли. Воздушную тревогу тоже объявили всего раза два, наверное, просто так, на всякий случай. Михаська помнил тот вечер. Незадолго до этого они с мамой, как и все жильцы, обклеивали свои окна белыми полосками бумаги крест-накрест. На верхнем стекле крест, на боковых тоже по кресту. Все говорили, что это очень помогает. Если бомба упадет, то стекла с такими полосками не разобьются. Михаська, признаться, мало этому верил, потому что даже простой небольшой камешек для стекла – гибель, а тут бомба!

А через несколько дней вечером завывла сирена, и мама закричала на Михаську, потому что он копался – у него не застегивались пуговицы на пальто.

Когда они вышли из дому, по черному небу шарили лучи прожектора и время от времени освещали самолет.

Но самолет был наш, четырехкрылый «кукурузник»; таких у немцев не бывает.

Мама все торопила Михаську, а он говорил ей, чтоб она не спешила, потому что самолет наш. Бомбоубежище было далеко, и они не успели до него дойти, как тревогу отменили, и они пошли домой. Михаська говорил маме: «Ну, видишь, видишь, ведь я говорил...» Мама ничего не отвечала и только вздыхала.

А на крыше все тогда оборудовали по-настоящему. В разных концах поставили ящики с песком, возле слухового окна – бочку с водой и прямо к бочке прибили два гвоздя, загнули их и на крючки повесили ведра.

Это Михаське нравилось. Было похоже на корабль. Там тоже висят ведра, только белые с красной полосой.

Но бочка так и не пригодилась. Песок потом растаскали по крыше ребята, а ведра унесли обратно в домоуправление.

Осталось от всей тревоги одно Михаськино тихое местечко за трубой.

Он иногда приходил сюда, ложился на спину, ощущая жар нагретого железа, и смотрел в небо, на облака.

Облака мчались перед ним, как белые паруса и как дикие

звери, каких даже в сказках не бывает. Иногда они походили на фашистов – ощеренные морды в рогатых касках, и тогда Михаська сражался с ними, расстреливая их – «ты-ты-ты-ты!» – из автомата.

Теперь воевать не надо, фашистов разгромили, и Михаська блаженствовал на крыше просто так.

А фашисты, вон они. Михаське видно отсюда, как за тесовым забором с колючей проволокой копошатся зеленые фрицы – строят новый дом. «Правильно, стройте, стройте, – подумал Михаська. – Рушили всё, теперь стройте».

Вот ведь ерунда какая: будто назло все про войну да про фашистов думается и из головы не выходит!

Он уставился на облака, стараясь представить какие-нибудь цветы, но там, на небе, все получались только взрывы.

Михаська зажмурил глаза и решил, что нарочно больше не будет думать про войну и разглядывать в облаках эти взрывы.

Он подумал про отца и открыл глаза.

Над головой плыли цветы из облаков.



В прошлое воскресенье они все-таки сходили за реку, на свой участок.

Солнце словно играло в прятки – то выглянет и припечет, будто в середине лета, то скроется за тучу, и тогда сразу дохнет близкой осенью.

Они шли от тени к свету и снова попадали в тень, будто переходили с острова на остров, и было здорово идти по островам, взявшись за руки, – мама, отец и Михаська.

Иногда Михаська оставлял их вдвоем и бежал далеко вперед, а потом останавливался и смотрел, как они идут к нему.

Сначала их лица казались маленькими пятнами, потом они приближались, и Михаська смеялся, потому что ему было приятно смотреть на них, видеть, как лохматит ветер волосы отца и он жмурится на солнце, смотреть, как мама то и дело подпрыгивает, подбирая шаг, а потом идет широко, в ногу с отцом, но у нее ничего не выходит, она снова подпрыгивает, и это очень смешно, потому что мама походит на курицу, которая хочет взлететь, а не может.

Они подходят ближе, ближе, а Михаська пятится, но они наступают на него, и он смеется и отбегает снова...

Картофельное поле тянется сразу за сосновым леском. Лесок небольшой и насквозь просвечен солнцем.

Их участок у самого ручья, так что можно напиться, за-

черпнуть фуражкой, как ковшом, прозрачной, будто воздух, воды и глотать ее, пока зубы от холода не зануют.

— Ну вот, — говорит мама, — пришли. Поклонимся нашей кормилице. — И первая кланяется.

Михаська хотел улыбнуться, но отец поклонился картошке тоже серьезно и даже задумчиво.

Михаська вспомнил, как копали они картошку и мама тащила на спине тяжеленные мешки к дороге, где ждала подвода, а потом картошку раскладывали дома, прямо на полу в комнате, чтоб она просохла на зиму, и в комнате долго держался сладковатый запах земли и картошки. Всю зиму жарили ее, и варили, и толкли, делая из картошки кашу.

Михаська подумал-подумал и поклонился тоже. Наверное, было смешно смотреть со стороны. Стоят трое людей и кланяются: чему — неизвестно, ровному полю.

Они присели возле ручья, и Михаська услышал, как журчит вода. Он сунул в нее руку и схватил со дна гальку, подбросил ее на ладошках, стал разглядывать. В кучке серых камешков один был прозрачный. Михаська повернул его к небу, и камешек стал голубым, положил на траву, он стал зеленым, а повернул к солнцу, и камешек засверкал яркими брызгами, будто сам был кусочком солнца.

Отец потрепал ботву. Кое-где на ней болтались гроздья зеленых яблочек с семенами.

— Знаете, — сказал отец, — а ведь есть песня про картошку. Он скинул рубашку и майку и теперь лежал на спине, под-

ставив грудь солнцу.

– Знаем, – сказала мама, ласково погладила отца по щеке и положила свою голову ему на грудь, к самому сердцу.

– Нет! – закричал Михаська. – Я не знаю!

– А мы знаем, – сказала мама.

– Ну вот, – ответил Михаська, – и спойте!

– А что, и споем, – сказал отец. – Споем, а? Нашу пионерскую?

– Вот уж да! – улыбнулся Михаська. – Пионерскую про картошку?

А отец и мама весело запели:

Расскажите-ка, ребята-бята-бята-бята,

Жили в лагере мы как-как-как.

И на солнце как котята-тятя-тятя-тятя,

Грелись этак, грелись так-так-так!

Михаська засмеялся. Уж очень забавные были слова у песни – «тятя-тятя-тятя» или «бята-бята-бята». Мама и отец допели песню, и Михаська попросил, чтобы они спели еще, и теперь уже подпевал им:

Здравствуй, милая картошка-тошка-тошка-тошка,

Низко бьем тебе челом-лом-лом...

Потом они посидели еще немного, погрелись на солнышке, побрызгались водой из ручья, и мама визжала на все по-

ле, а потом спели еще про картошку, и этот веселый мотив никак не выходил у Михаськи из головы.

Даже дальняя дорожка-рожка-рожка-рожка  
Нам с тобою нипочем-чем-чем...

– Эх, – сказал вдруг отец, – долго ждать!

Мама кивнула головой, а Михаська спросил:

– Что долго ждать?

– Да вот решили мы с мамой, сынок, – ответил отец, – построить свой домик. Уж очень тесно живем.

– Избушку на курьих ножках? – спросил Михаська, думая, что отец смеется.

– Эх ты, сказочник! – Отец обнял Михаську за плечи. – Нет, настоящую избушку. Пусть небольшую, да свою.

– А зачем? – удивился Михаська.

Ему нравилась их маленькая уютная комнатка с желтым полом, таким желтым, что казалось, кто-то опрокинул яичницу. Ему стало жалко Ивановну, маленькую Лизу, Катьку, уютное местечко на крыше и весь их большой старый дом, без которого он не мог представить себя.

– А затем, – весело крикнул отец, – что хватит! Навоевался я? Ох как навоевался!.. И хочу теперь жить по-людски! Хорошо! Вольно! И чтоб всего было вдосталь! И еды, и воздуха, и света! Потеснились, хватит! Будет и у нас дом!

А мама сказала задумчиво:

– Надо, чтобы была кухонька с печкой. И хорошо бы две комнатки: светелка и горница.

– Будет, будет и светелка и горница! – сказал отец. – А когда станет холодно, мы с Михаськой залезем на печку и будем рассказывать друг другу сказки. А, Михаська?

Это Михаське понравилось. Он представил домик под старым тополем, ветер, снег, а они с отцом лежат на горячей печке и рассказывают сказки, а мама печет пирожки с грибами и луком. Он улыбнулся, а отец хлопнул его по плечу, как равного, и сказал:

– Ну вот, видишь!

И они еще раз спели песенку о пионерской картошке. А ветер шумел в траве, журчала вода в ручье, перекатываясь через белый камень, и солнце разбрасывало по земле свет и тени, будто сказочные острова.

Михаська смотрел на облака, лежа на траве, и громко пел:

Пионерская картошка-тошка-тошка-тошка,  
Объединье для ребят-бят-бят...

Ему нравилась эта песенка. Только Михаська никак не мог представить отца и маму пионерами, хотя песню эту они пели, когда были такими, как он теперь.

– Тошка-тошка-тошка-тошка! – весело орал Михаська. – Бят-бят-бят!

А облака плыли над ним, похожие на кудрявые белые цве-

ты.

Когда они возвращались, отец вдруг стал серьезным и сказал, как тогда, на поле:

– Вот только долго ждать. Тут за год на дом не заработаешь.

А мама грустно вздохнула.

Они шли по дороге, и Михаська перебегал с острова на остров...

Михаська ходил за отцом хвостом. Куда отец, туда и он. Пошлет мама отца на рынок, и Михаська с ним. Пойдет отец просто по улице прогуляться, и Михаська тут как тут.

Когда мама брала его за руку, Михаська сейчас же вырывался: что он, маленький? А отца сам за руку брал, чтобы все видели – это его батя.

И вот что интересно: куда бы они ни шли, отец, как мальчишка, по сторонам глазееет, улыбается. Михаське с ним интересно. Раз шли и увидели льва на воротах. Каменного, конечно. Сколько раз Михаська его видел, льва этого. И никогда не думал, почему это на воротах лев, не собака там или еще кто. А отец остановился, кивнул льву, как старому знакомому, и рассказал Михаське, что львов на воротах ставили купцы. До революции это было. Если на воротах лев, значит, тут купец живет.

Отец ходил по улицам так, будто все в первый раз видел. И все наверх смотрел, на крыши, на деревья. Ворот у гимнастерки расстегивал, чтоб дышать легче.

Так они и ходили вдвоем: куда отец, туда и Михаська.

Однажды отец решил зайти в пивную, выпить кружечку, Михаське сказал, чтобы подождал на улице, но он увязался за отцом.

Пивная была в маленьком подвальчике. Пахло дрожжами

и чем-то мокрым. Отец взял кружку пива и сел за столик. Народу было невпроворот: все вокруг гудело, шумело; пластами плавал седой дым.

Отец выпил кружку и хотел уже уйти, как его кто-то окликнул. К столику медленно, боясь расплескать пиво, двигался человек. В каждой руке он нес по три пивные кружки.

– А-а, Седов! – сказал отец. – Пропиваешь состояние?

Седов не обиделся.

– Не угадал, – ответил он, – как раз обмываю состояние. Вот корову купил.

Он показал на какого-то старика – видно, колхозника.

– По поводу ценной покупки, – сказал он, – прими кружечку. – Седов подул на кружку; хлопья пены полетели на пол.

Они выпили, и отец уже не посмеивался над Седовым, а все расспрашивал его о корове.

– Молочко буду теперь пить, – говорил Седов. – Ты знаешь, молоко с пивом, – во, говорят, выходит!

– Где же ты денег столько взял? – спросил отец. – Коровато, поди-ка, и правда целое состояние стоит?

Седов захохотал. Лицо у него было и так круглое, будто блин с ушами, а когда он смеялся, становилось еще круглее и глаза совсем закрывались – одни щелочки только.

– Хочешь узнать? – спросил Седов, наклонил свой блин к отцу и зашептал ему на ухо, хрипло похохатывая.

– Ну и скотина же ты, Седов! – сказал отец и поморщился,



будто зубы у него заболели.

Михаська подумал, что сейчас Седов вскочит, грохнет кулаком, начнет орать, но он не грохнул и не заорал.

– Захочешь жить по-человечески, – сказал он ласково, – поймешь, что к чему.

– Я же воевал, – сказал отец, – в разведке служил! За кого ты меня принимаешь?

– Вольному – воля, – сказал Седов серьезно, и Михаська увидел, что глаза у этого блина колючие. – Никто за рукав не тянет. Война – это одно, а мирная жизнь – другое. Тут разведчики не требуются, все уже разведано. Только выбирай...

Отец не ответил ему, кивнул, прощаясь, взял за руку Михаську, и они пошли домой. Отец застегнул воротник, глядел под ноги, хмурился и молчал. Перед самым домом спросил:

– Хочешь, Михаська, молока с пивом?

Михаська мотнул головой: молока, конечно, можно, но зачем же с пивом?!

– А вот я, представляешь ли, хочу, – сказал отец задумчиво. – Только как?

– Нет, лучше молоко отдельно. А пиво сам пей, – сказал Михаська.

Отец усмехнулся и положил на Михаськино плечо свою руку.

– Только как? – повторил он, будто и не слышал Михаську. Про что это он?

Мама затеяла стирку, а их прогнала. И они пошли в кино. Фильм назывался «Маугли» – про то, как мальчишка жил в джунглях. Кино Михаське понравилось, но все время, пока он его смотрел, будто что-то давило на Михаську.

Вдруг его словно ударило – марки! Отцовский альбомчик с марками, которые отнял Савватей. Там были такие же джунгли, как в фильме.

После кино они опять медленно пошли по улице. Отец снова глазел по сторонам и расстегнул воротник, а Михаська все мучился и не знал, как рассказать о марках.

Если всю правду – стыдно, что отдал альбом Савватею, даже не ударил его. Если соврать что-нибудь... А отец вдруг рассмеялся и сказал Михаське, что, когда был маленький и прочитал книжку про Маугли, он хотел убежать в Африку. Да раздумал, потому что не знал, где Африка – за рекой или, наоборот, в другой стороне.

Они засмеялись. Михаська покрепче сжал руку отца, и марки сразу ушли куда-то в сторону. Эх, как здорово идти вдвоем! И хорошо, что мама не пошла, осталась стирать. Вдвоем с отцом лучше. Идут двое мужчин и смеются – вот и все.

Вдруг отец словно врос в землю.

На асфальте, под забором, на деревянной тележке с ша-

рикоподшипниками вместо колес сидел безногий инвалид.

Одет он был во все военное: офицерское галифе, подрезанное и ушитое на обрубках ног, и гимнастерка без погон. На гимнастерке висели медаль «За отвагу» и гвардейский знак.

Перед тележкой лежала перевернутая пилотка со звездочкой, а в ней всегда были монеты и даже бумажные рубли – Михаська не раз видел тут этого инвалида.

Однажды инвалид ехал на своей тележке пьяный. Когда пьяны обычные люди, они шатаются на ногах, а этот мчался на своей тележке по улице, подшипники жужжали, как самолеты, а он орал:

– Эх, раз-зойдись! Гвар-р-рдия едет!..

Улица шла под уклон, инвалид разогнался, отталкиваясь деревяшками с ручками, его тележка неслась быстрее машин, а он все разгонялся и разгонялся, орал и орал. Вдруг крик стих, и Михаська увидел, как тележка зацепилась за что-то и инвалид рухнул на землю. Его протащило по инерции еще несколько метров, какие-то люди бросились к нему, чтобы помочь, но он заматерился и поднялся сам. Рукав гимнастерки был разодран. И вдруг инвалид заплакал пьяным голосом, прямо заревел на всю улицу; и прохожие притихли, остановились, молча смотрели на него. Даже грузовушка с дровами – мимо ехала – затормозила и тетка-шофер высунулась из кабины. А инвалид медленно поехал сквозь людской коридор к своему месту у забора...

Весь город, наверное, знал его. Один отец не знал. Но чего же стоять как вкопанному? Михаська посмотрел на отца. Тот не отрываясь глядел на инвалида. Потом переступил с ноги на ногу, сказал негромко:

– Вон оно как, значит... Не пожалела война Серегу...

Инвалид был выпивши. Он дремал, не обращая внимания на людей, иногда вздрагивал всем телом, просыпался и кричал:

– Подайте гвардейцу на сто грамм!

Он обводил улицу мутным, тяжелым взглядом, будто дразнил всех: ну-ка, мол, не подайте, хоть я и на водку прошу! Монеты глухо падали в пилотку, а он снова вешал на грудь нечесаную голову и всхрапывал.

Звездочка на перевернутой пилотке была вниз головой, и Михаське захотелось подбежать к инвалиду, отцепить побыстрее от пилотки звездочку, чтобы не пылилась она здесь, не лежала у ног прохожих, не просила подаяния. Он подумал нехорошо про инвалида; он подумал, что, наверное, безногий нарочно не снимает звездочку, и медали не снимает, и гвардейский знак, и нахально кричит так тоже не зря – хочет просто побольше получить... Но тут же он представил себя без обеих ног, и ему стало стыдно своих мыслей. Без ног – это ужасно, это страшно, без ног же невозможно.

Михаська посмотрел на отца.

Тот все стоял, внимательно глядя на инвалида, и черная морщина разрезала лоб, и брови почти сходились на пере-

носье.

– Здорово пьет, горемыка, – сказал он.

– А ты его знаешь? – спросил Михаська.

– Знаю, знаю... – быстро сказал отец. – Как же не знать, воевали вместе. Да пойдем-ка!

Он крепко схватил Михаську за руку и потащил на другую сторону улицы. Отец шел быстро, и спокойствие и веселье, которые были в нем только что, враз куда-то исчезли. Он то-ропился, будто за ним кто-то гнался, кто-то глядел на него, а отец не хотел, чтоб его узнали и догнали.

– А то увидит, не отвяжешься, – сказал он, снова взглянув на инвалида.

Михаська даже не сразу понял, что сказал отец. Только что, минуто назад, он смотрел на инвалида нахмурившись, стиснув зубы, и Михаська подумал, что отцу, наверное, нелегко смотреть вот так на человека, у которого война отняла ноги. Может, он подумал о себе – ведь и он мог прийти с фронта таким же!

Михаська думал, отец жалеет инвалида, а он вон как...

Они перешли на другую сторону, и отец сразу успокоился, снова стал веселым.

Будто и не было инвалида.

Михаська представил себя на месте отца. А вместо инвалида – Сашку. Неужели, неужели он смог бы, как отец?.. Рядом воевали... Конечно, это правда, что говорит отец. Будет Серега кланчить деньги на водку. Но что же тут поделаешь?

Михаська подумал, что хотел рассказать отцу про марки, про Саввата, но сейчас это было таким мелким и никчемным...

Он только снова посмотрел на отца.

Долго-долго...

А потом пришло первое сентября.

Весной, когда Михаська кончал четвертый класс, он думал, что теперь придется переходить в другую школу. Он даже потихонечку гордился, что уже кончил одну школу, как говорила Юлия Николаевна, получил начальное образование и теперь ему надо переходить в среднюю.

Это все-таки не так просто, не раз чихнуть – кончить начальную школу. Михаська первый раз в жизни сдавал экзамены и, конечно, страшно боялся. Но изложение написал на пятерку и остальные экзамены, которые Юлия Николаевна почему-то называла испытаниями, сдал хорошо и получил свидетельство об окончании начальной школы – большой белый лист, где были поставлены отметки по всем предметам.

Когда Юлия Николаевна торжественно, как и всем ребятам, вручила Михаське лист, ему стало совсем грустно и не захотелось никуда переходить, ни в какую другую школу. Все ребята тоже говорили, что им никуда не хочется уходить, что лучше бы всегда здесь учиться, с Юлией Николаевной. Она улыбалась, говорила, что все равно она учит только до четвертого класса, но тут их начальную школу переделали в семилетнюю смешанную, и весь Михаськин класс остался в старой школе.

Так что первого сентября Михаська не пошел, а поскакал

в свою школу, будто кенгуру. Перед первым уроком он поиграл в чехарду во дворе, поспорил со Свиридом, что орден Красной Звезды ничуть не хуже боевого Красного Знамени, потому что красная звезда и красное знамя ведь одно и то же: они всегда вместе и друг без друга не обходятся.

Потом загремел звонок – Ивановна вышла во двор со своим медным колокольчиком на деревянной ручке, у которого даже язычок оторвался – столько он звонил, – и вместо него телефонным проводом была примотана железная шайба, и потому колокольчик не звенел, а гремел.

Когда они расселись, в класс вошла Юлия Николаевна с каким-то человеком в очках, высоким и бритоголовым. Она ему еле до плеча доставала.

– Ну вот, – сказала, – вы совсем взрослые. Уже пятиклассники. Теперь у вас будет не один учитель, а много. Учитесь дальше...

Она была в том же самом платье, что и в День Победы, – с белым воротничком из кружев, а на платье два ордена Ленина.

Все ребята гордились Юлией Николаевной – еще бы, у нее было сразу два ордена! И каких! Ни у одного учителя во всем городе нет таких наград. Мама говорила Михаське, что Юлия Николаевна была учительницей еще при царе – вот сколько она уже работала!



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.